

АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ

18+

3:33

Посвящается всем,
кто в три тридцать три
ещё не спит



Александр Зайцев

3.33

«Издательские решения»

Зайцев А.

3.33 / А. Зайцев — «Издательские решения»,

Он умер в 3:33 — но не ушёл. Аптека стала ловушкой между жизнью и смертью, где время спотыкается, а выбор решает судьбы тысяч. За чёрным стеклом — та, что ждала его 42 года. Внутри — память, вина и чужие судьбы. Остаться и спасти её — или отпустить и спасти всех? Иногда самый страшный выбор — это любовь.

© Зайцев А.

© Издательские решения

Содержание

ТРИ ТРИДЦАТЬ ТРИ	6
Конец ознакомительного фрагмента.	14

3.33

Александр Зайцев

© Александр Зайцев, 2026

ISBN 978-5-0070-2836-3

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

ТРИ ТРИДЦАТЬ ТРИ

Посвящается всем, кто в три тридцать три ещё не спит

Глава 1. Чайник засвистел в пустоте

Он умер утром.

Это случилось в три тридцать три. Я знаю это не потому, что видел часы, а потому, что время споткнулось. Оно всегда спотыкается в эту минуту. Секундная стрелка на старых настенных часах, чешских, с кукушкой, которая не куковала уже двадцать лет, потому что Марк Ильич так и не купил батарейку, дёрнулась, замерла, дёрнулась снова и остановилась. Полностью. Не сломалась — замерла в ожидании. Будто сама смерть нажала на паузу.

Кукушка не вылетела.

Тишина навалилась на аптеку, как мокрое одеяло. Тяжёлая. Липкая. В этой тишине Марк Ильич услышал, как лопаются капилляры в глазах, как сворачивается кровь в остановившемся сердце, как пылинки, те самые, что висели в луче света от уличного фонаря, перестают падать и просто висают в воздухе, как крошечные мёртвые луны.

Он лежал на спине. Глаза открыты. Рука всё ещё тянулась к полке, где стояла коробка анальгина, та самая, которую он так и не достал. Пальцы застыли в дюйме от картона. Ноготь большого пальца, желтоватый, с продольной трещиной, упирался в пустоту.

Сердце не билось.

Лёгкие не дышали.

Но он думал.

Это было странно — думать без тела. Мысли не имели веса, не имели голоса, не имели хозяина. Они просто были. Плыли в темноте, как рыбки в банке, которую забыли на окне.

Я умер, — подумал он. — Интересно, больно ли было? Не помню.

Он попытался пошевелиться. Ничего не произошло. Попытался открыть рот — нет, рот уже был открыт. Или закрыт? Он не чувствовал лица. Не чувствовал рук. Не чувствовал пола под спиной.

Была только тьма.

И запах.

Запах аптеки. Анальгин. Валидол. Старое дерево. Пыль на стеллажах, которую никто никогда не вытирал, потому что кому какое дело до пыли, когда люди приходят за лекарствами от боли. Этот запах был единственным, что связывало его с миром. Тяжёлый, сладковато-горький, ввевшийся в поры, в одежду, в волосы — за сорок два года он стал частью его самого.

Интересно, — подумал он, — в раю пахнет аптекой? В аду, наверное, тоже. Только там анальгин не помогает.

Он попытался рассмеяться. Не вышло.

А потом чайник засвистел.

Тот, кто говорит, что мёртвые не слышат, — врёт. Или никогда не умирал.

Свист был резким, высоким, каким-то неправильным — не радостным, как бывает, когда вода закипает для чая, а тоскливым. Жалобным. Будто чайник знал, что хозяин больше не придёт, но всё равно грел воду по привычке. Сорок два года привычки. Трудно остановиться.

Свист вгрызался в темноту, разрывал её на лоскуты.

Марк Ильич понял, что видит.

Не глазами — глаза были где-то там, в теле, которое лежало на полу аптеки. Он видел *откуда-то сверху*. Или *изнутри*. Или *ниоткуда*. Трудно объяснить.

Он видел аптеку.

Но аптека изменилась.

Краски ушли. Мир стал чёрно-белым, как старая фотография, которую долго держали на солнце. Стеллажи — высокие, до потолка — тянулись в бесконечность, хотя раньше здесь было три ряда и тупик у подсобки. Полки ломились от коробок, пузырьков, блистеров, но все они были пустыми. Прозрачными. Сквозь них просвечивала стена — серая, шершавая, живая.

Стена дышала.

Я не шучу. Стена дышала. Медленно. Тяжело. Будто зверь, который спит и видит сон, где его травят собаками. Штукатурка то надувалась вперёд, то втягивалась обратно, оставляя на поверхности трещины, которые шевелились, как черви.

Марк Ильич хотел закричать. Не от страха — от отвращения. Но крика не вышло. Вместо этого он просто *оказался* у окна.

Окна раньше здесь не было.

Большое, во всю стену, чёрное стекло. Не тонированное — чёрное. Глубокая чернота, в которой ничего не отражалось. Ни его лица — он не увидел своего отражения. Ни аптеки за спиной. Только пустота.

Он посмотрел сквозь стекло.

На улице был туман.

Но не тот туман, который вы видели. Не молочная пелена, не утренняя дымка. Этот туман был плотным, как вата. Липким, как паутина. Он двигался не как газ — как живое существо. Клубился, сворачивался в спирали, распадался на нити, собирался обратно. В нём что-то было. Что-то тёмное. Что-то, что не хотело, чтобы его видели.

Фонарь стоял на углу — старый, железный, с молочно-белым стеклом, которое давно следовало заменить. И он горел. Но свет от него был неправильным. Он не разгонял тьму — он собирал её. Ложился на асфальт чёрными лужами, стекал в трещины, поднимался обратно. Фонарь не светил. Фонарь *источал тьму*.

И под этим фонарём стояла она.

Я не знаю, как назвать её.

Тень — слишком просто. Силуэт — слишком плоско. Она была чем-то средним между сломанным зеркалом и воспоминанием о сне, который вы забыли, но который оставил во рту привкус меди.

Она стояла, вжавшись в столб фонаря, будто пряталась от дождя, хотя дождя не было. Руки — длинные, тонкие, с пальцами, которых было слишком много, — обнимали железо. Лица не было. Вообще. Гладкое пятно там, где должны быть глаза, нос, рот. Но он *знал*, что она смотрит на него. Смотрит сквозь чёрное стекло. Смотрит *на него*.

Чайник засвистел снова. Громче. Настойчивее.

Марк Ильич отвернулся от окна.

Внутри аптеки, в углу, стоял стул. Старый, скрипучий, с продавленным сиденьем. На спинке висела тряпка — серая, застиранная, пахнувшая хлоркой. Он никогда не сидел на этом стуле. У него был другой — у кассы, крутящийся, на колёсиках. Этот стоял в углу для посетителей. Для тех, кто ждал рецепта. Для тех, кто приносил бабушкин валидол. Для тех, кому было плохо, и они боялись стоять.

Никто никогда не садился на этот стул. Слишком старый. Слишком неудобный. Слишком *чужой*.

Теперь на стуле стоял чайник.

Не на плите — на стуле. Старый, эмалированный, с отколотым носиком, из которого торчала проволока вместо свистка. Его поставили на сиденье, и он кипел. Кипел, не подключён-

ный к розетке, не стоящий на огне. Просто кипел. Вода бурлила, выплёскивалась через край, стекала на сиденье, впитывалась в тряпку. Пар поднимался к потолку и там исчезал.

Марк Ильич смотрел на чайник.

Чайник смотрел на него.

У чайника не было глаз. Но он смотрел.

Мир наклонился.

Или это Марк Ильич наклонился? Он не понял. Но в следующую секунду он уже сидел на стуле.

Стул скрипнул. Обивка, когда-то коричневая, теперь серая, треснула по швам под его весом — весом мёртвого тела, которое весило ровно столько же, сколько ничего.

Чайник перестал свистеть.

Тишина навалилась, как бетонная плита.

Он сидел. Смотрел на чёрное окно. На туман. На неё.

Она стояла под фонарём. Не двигалась. Ждала.

И здесь, в аптеке, между стеллажами с пустыми коробками, между стеной, которая дышала, и окном, которое ничего не отражало, Марк Ильич понял одну вещь.

Он не в раю.

Не в аду.

Он всё ещё здесь. В своей аптеке. Но аптека — это теперь не место. Это — состояние.

А она — та, под фонарём — пришла за ним.

Не в тот раз, когда сердце остановилось.

Она пришла за ним *очень давно*.

И ждала.

Сорок два года.

В аптеке было холодно. Не так, когда мёрзнут руки — тепла больше нет, так что холод не чувствуется. Другой холод. Тот, что забирается под кожу и сидит там, в костях, как червь в яблоке. Холод, который не греется. Который только растёт.

Чайник остыл.

Стул скрипел под Марк Ильичом, хотя он не двигался.

За окном туман шевелился. То приближался к стеклу, почти касался его, то отступал, будто боялся. Боялся не стекла — боялся того, что за стеклом. Его.

Он был мёртв.

Но он был *здесь*.

И самое страшное — он понимал, что это только начало.

Глава 2. Пальцы на стекле

Он не знал, сколько просидел на стуле.

Время здесь было больным. Оно не шло — оно капало, как вода из плохо закрытого крана. Капля. Пауза. Капля. Но между каплями могли проходить часы. Или секунды. Или годы.

Чайник остыл окончательно. Марк Ильич провёл рукой по его боку — металл был ледяным. Не просто холодным — липким. Будто чайник вспотел, пока кипел, и теперь сох, выделяя какую-то слизь.

Он отдёргнул руку.

На ладони остался серый налёт. Он потёр пальцы — налёт не стирался. Впитывался в кожу, как чернила в промокашку.

Не трогай ничего, — подумал он. — Здесь всё не твоё.

Хорошая мысль. Запоздалая, но хорошая.

Он поднялся со стула. Ноги не слушались — не потому, что болели или затекли, а потому, что их не было. То есть они были, он их видел — старые, в коричневых брюках, с разношенными туфлями. Но он их не *чувствовал*. Как будто смотрел на чужие ноги в документальном фильме.

Он сделал шаг.

Пол под туфлями не скрипнул. Вообще не издал звука. Тишина была такой плотной, что, казалось, её можно было резать ножом — она бы распалась на ломти, как холодец.

Второй шаг. Третий.

Он двигался к окну.

Чёрное стекло висело в стене, как плохо покрашенная дыра. По краям — там, где рама касалась штукатурки — что-то сочилось. Тёмное. Густое. Он не хотел знать, что это.

Он остановился в шаге от окна.

Она стояла под фонарём.

Ближе, чем раньше. Или ему только казалось? Туман колыхнулся, и на секунду он увидел её чётко — до того чётко, что захотелось закрыть глаза.

Пальцы. У неё были пальцы. Длинные, слишком длинные, с суставами, которые смотрели не в ту сторону. Они обнимали фонарный столб, как любовника. Или как утопающий обнимает доску. Она *держалась* за этот столб. Боялась упасть. Или боялась отпустить.

Лица по-прежнему не было. Только гладкая овальная поверхность, на которой иногда — только иногда, краем зрения — проступали черты. Глаз. Брови. Рот, искривлённый в улыбке. Но стоило посмотреть прямо — всё исчезало. Оставалась пустота.

— Ты пришёл, — сказала она.

Голос не был звуком. Он был вибрацией, которая прошла сквозь стекло, сквозь стену, сквозь череп Марка Ильича и отозвалась где-то в позвоночнике. Низкий. Тяжёлый. Как нота на самой толстой струне виолончели.

Он хотел ответить. Открыл рот.

Ничего не вышло.

— Не пытайся, — сказала она. — Твой голос остался там. С телом. Здесь ты не говоришь.

Пока.

«Пока? — подумал он. — Что значит „пока“?»

Она не ответила. Но он понял, что она слышала мысль.

Туман между ними стал тоньше. Он видел её руки — серые, как пепел, с ногтями, которые закручивались внутрь, будто пытались спрятаться. Видел её плечи — острые, угловатые, под белой тканью, которая не была одеждой. Она была её *кожей*.

И вдруг он понял, что знает её.

Не имя. Не лицо. Но он знал этот холод. Эту тишину. Этот запах — сырой земли и горелого металла.

Он уже чувствовал это. Один раз. Давно.

«Сорок два года назад», — подумал он.

— Да, — отозвалась она. — Сорок два года назад.

Сорок два года назад. Комната. Мать в соседней комнате. Часы на тумбочке — стрелки показывают три тридцать три. И он смотрит в угол.

Он видит её.

В первый раз.

«Ты устала, — говорит он. — Я вижу».

И протягивает руку.

— Ты протянул руку, — произнесла она. — Никто никогда не протягивал руку мне. Ты был первым. И последним.

Марк Ильич стоял, вжавшись лбом в стекло. Холод от него был такой, что кожа заледенела, но он не чувствовал — у него больше не было кожи. Была только память о том, что кожа когда-то была.

Она шагнула ближе.

Туман расступился, но не ушёл — просто дал ей пройти. Сделал коридор. Он смотрел, как она идёт. Плавно. Неестественно. Будто двигалась не она, а двигался мир вокруг неё, а она просто стояла на месте, а всё остальное тянулось ей навстречу.

Она остановилась у самого стекла.

И прижала ладонь к чёрной поверхности.

Пальцы — те самые, длинные, скрученные — легли на стекло. И там, где они касались, чернота рассеивалась. Стекло становилось прозрачным. Совсем. Как обычное окно.

Он видел её ладонь. Серую. Треснувшую. По ней шли линии — не линии судьбы, как у живых, а трещины. Глубокие. Тёмные. Сквозь них что-то сочило. Или кто-то.

«Не смотри туда», — сказал себе Марк Ильич. — «Не смотри в трещины».

Но он смотрел.

В трещинах что-то двигалось. Маленькое. Быстрое. Слепое. Оно тыкалось в края, искало выход.

— Я ждала, — сказала она. — Сорок два года. Я никогда никого не ждала так долго. Я вообще никого не ждала. Я приходила — и забирала. Это было просто. А с тобой...

Она замолчала.

Трещины на ладони стали шире.

— С тобой я не смогла.

Марк Ильич смотрел на её ладонь. На те пальцы, которые обнимали фонарный столб. На ту руку, которую он мог бы взять.

Он протянул свою.

Ту самую руку — с жёлтыми от никотина пальцами, с мозолями от весов, с продольной трещиной на ногте большого пальца. Руку, которая сорок два года таскала коробки с анальгином и валидолом. Руку, которая так и не достала ту коробку, когда сердце остановилось.

Он прижал её к стеклу. С другой стороны.

Их ладони разделяло чёрное стекло.

Но он чувствовал её холод. Сквозь стекло. Сквозь черноту. Сквозь смерть.

Она дёрнулась.

Отшатнулась от окна так резко, что туман за ней схлопнулся, как парус, в который ударил ветер. Она отступила на три шага. Потом на пять. Её руки — обе — снова вцепились в фонарный столб.

— Не надо, — сказала она. — Не делай этого.

«Чего?» — подумал он.

— Не пытайся дотронуться. Не сейчас. Если ты дотронешься до меня — ты не сможешь вернуться. Совсем. Даже сюда.

Она говорила быстро, почти задыхаясь. Хотя у неё не было лёгких.

— Пока ты здесь, в аптеке, ты можешь... можешь... — Она запнулась. — Система пока не знает, что с тобой делать. Ты — ошибка. Баг. И пока ты ошибка — ты в безопасности. Но если ты дотронешься до меня... ты станешь выбором. Окончательным. И тогда Ад и Рай начнут за тебя драться.

«А если я не хочу, чтобы они дрались?»

— Тогда не дотрагивайся. Не сейчас.

Она снова прижалась к фонарю. Вжалась в него всем телом, будто хотела стать частью металла, бетона, тьмы.

Марк Ильич убрал руку от стекла.

Чернота вернулась. Ладонь исчезла. Остался только он — старый аптекарь в пустой аптеке, смотрящий в туман, где под большим фонарём стоит то, кого он когда-то пожалел.

Или полюбил.

Он не знал.

Он вообще ничего не знал.

Но он знал одно — чайник снова начал нагреваться. На стуле. Без огня. Без розетки.

Свист будет скоро.

Он вернулся на стул.

Сел.

Поставил локти на колени.

И стал ждать.

Она стояла под фонарём и смотрела на него.

Сорок два года — это много.

Но она умела ждать.

Глава 3. Стул помнит всё

Чайник закипел ровно в три тридцать три.

Марк Ильич не смотрел на часы — часов больше не было. Стена, где они висели сорок два года, стала гладкой, как кожа мертвеца. Ни циферблата, ни стрелок, ни того места, где треснуло стекло после того, как пьяный пациент запустил в аптеку костылём.

Но он знал время.

Знал по тому, как туман за окном сгустился до черноты. По тому, как фонарь дёрнулся, будто его дёрнули за провод. По тому, как его собственная тень — та, что лежала на полу аптеки, хотя света не было — вытянулась, заострилась и указала куда-то в угол.

Чайник свистел. Те же три ноты. Те же. Что и всегда. Он узнал бы их среди тысячи. Потому что слышал их каждую ночь. Сорок два года. Ровно в три тридцать три.

При жизни он думал, что это соседи. Или трубы. Или старый чайник в подсобке, который кто-то забыл выключить. Он вставал. Проверял. Чайник был выключен. Трубы молчали. Соседи спали. Но свист стоял в ушах до четырёх утра, когда в аптеку приходил первый пациент с давлением.

Теперь он знал.

Чайник свистел *здесь*. Всегда здесь. В этой аптеке. В этой — другой. Той, что стояла на краю.

Он сидел на стуле и смотрел, как из носика поднимается пар. Белый. Густой. Он не рассеивался, как обычный пар — он поднимался до потолка, там задерживался, сворачивался в кольца и падал обратно на пол. Шёл дождь из пара. Тёплый. Почти живой.

Марк Ильич протянул руку. Пар коснулся пальцев.

И он *почувствовал*.

В первый раз с тех пор, как умер.

Чувство было неправильным. Не тепло — жжение. Не влага — что-то липкое, что обволокло кожу и начало втягиваться в поры. Он отдёрнул руку, но было поздно. Пар уже вошёл в него. Заполнил вены, которые не бились. Растёкся по костям, которые не грели.

И вместе с паром пришли *воспоминания*.

Не его.

Стула.

Аптека на углу. Другая — не его. Старая, с деревянными стеллажами, с весами, на которых гири ещё в граммах. Стул стоит в углу. На нём сидит женщина. Молодая. Лет двадцать пять. Держит рецепт. Ждёт.

За прилавком — аптекарь в белом халате, с усиками, с вечной усталостью в глазах. Он смотрит на рецепт и качает головой.

— Это не лекарство, — говорит он. — Это смерть.

Женщина молчит.

— Вы не можете мне отказать, — говорит наконец. — У меня рецепт. Всё законно.

Аптекарь смотрит на неё. Долго. Потом рвёт рецепт.

— Приходите завтра. Поговорим.

Женщина встает. Стул вздыхает под ней — тонко, жалобно, по-стариковски. Она выходит. Аптекарь стоит у окна и смотрит ей вслед.

На следующий день женщина не приходит.

Через три дня её находят в съёмной квартире. Пузырёк. Не из этой аптеки. Другой. Там, где не рвут рецепты.

Стул помнит её вес. Сорок пять килограммов. Кожа да кости. Она почти не давила.

Марк Ильич открыл глаза.

Он не помнил, когда закрыл их. Стена перед ним — та, что дышала — вздымалась чаще. Быстрее. Будто после просмотра кино, где кто-то умер.

Он посмотрел на стул.

Стул молчал.

Но теперь Марк Ильич знал: стул — не просто стул. Он был здесь дольше, чем аптека. Дольше, чем туман. Дольше, чем та, под фонарём. Стул был свидетелем. Он впитывал в себя всех, кто на него садился. Их боль. Их страх. Их выборы.

И теперь, когда Марк Ильич сидел на нём — мёртвый, но всё ещё выбирающий — стул отдавал память. Не спрашивая. Не жалея.

«Стул помнит всё», — подумал он.

Чайник снова засвистел. Три ноты.

Он встал.

Стул под ним скрипнул — долго, протяжно, как дверь в склепе, которую открывают раз в столетие. Скрип повис в воздухе и не гас. Он стоял в аптеке, как третий персонаж. Тот, кто не говорит, но слышит всех.

Марк Ильич пошёл к окну.

Не потому, что хотел. Потому что ноги понесли сами. Его ноги — чужие, нечувствительные — двигались по полу, который больше не скрипел. Они знали дорогу лучше, чем он.

Он остановился у чёрного стекла.

Её под фонарём не было.

В первый раз.

Туман клубился пустой. Металл фонаря блестел влажно, как спина выбравшейся на берег рыбы. Асфальт под ним был серым, потрескавшимся, с лужами чего-то, что не было водой. Но её не было.

Марк Ильич прижал лоб к стеклу.

Холод ударил в череп. Не тот холод, что снаружи — тот, что внутри. Он почувствовал, как стужа растекается по лицу, затекает в глазницы, в рот, в уши. Стекло не пускало его наружу — оно впускало что-то внутрь.

И в этом *что-то* он услышал её — тихий, далёкий шёпот.

«Я не могу стоять там всё время. Иногда я должна уходить. Туда, куда даже туман не заглядывает».

«Куда?» — подумал он.

«К другим. К тем, кого я не забрала. Их много. Они бродят. Они ждут. Они не умеют ждать так, как я. Они плачут. Я иду к ним. Я смотрю на них. Это всё, что я могу».

«Ты забираешь их?»

Пауза.

«Я больше никого не забираю. После тебя — никого. Я только смотрю. Иногда я сажусь рядом. Иногда я держу за руку. Но я не забираю. Я не могу».

«Почему не можешь?»

«Потому что моя рука теперь помнит твою. И не хочет другой».

Он открыл рот. Хотел сказать что-то. Но голоса не было.

Вместо этого стекло под его лбом пошло трещинами.

Маленькими. Тонкими. Как паутина.

Они расходились от точки, где лоб касался чёрной поверхности. Расходились не спеша, будто стеклу было больно. В трещины вползал свет — не тот, что от фонаря. Другой. Серый. Мёртвый.

И в этом свете он увидел её силуэт.

Далеко. Очень далеко. В глубине тумана. Она сидела на земле, скрестив ноги, и держала за руку кого-то маленького. Ребёнка. Девочку. Та самая, с леденцом, только теперь без леденца.

Она смотрела на девочку. Девочка смотрела в пустоту.

И никто из них не двигался.

Марк Ильич хотел закричать. Не от страха — от тоски. От того, что она сидит там, в тумане, держит за руку мёртвого ребёнка, а он стоит здесь, за стеклом, и ничего не может сделать.

Стекло треснуло громче.

Она подняла голову.

Посмотрела прямо на него — через туман, через расстояние, через черноту, через всё, что было между ними.

И покачала головой.

Один раз. Медленно.

«Не сейчас, — донёсся её шёпот. — Не пытайся выйти. Стекло — единственное, что держит границу. Если оно разобьётся — туман войдёт внутрь. И ты станешь таким же, как они. Будешь брести. Вечно. Ничего не помня».

Он отшатнулся от окна.

Трещины на стекле начали затягиваться. Медленно. Неохотно. Будто стеклу жалко было отпускать его взгляд. Но через минуту чёрная поверхность стала снова гладкой. Целой. Пустой.

Она исчезла.

Ребёнок исчез.

Только туман и фонарь. И тишина, которая давила на уши.

Марк Ильич стоял посреди аптеки. Дышал. У него не было лёгких, но он дышал. Привычка. Сорок два года привычки.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.